



## В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

### Александр Блок

(отрывок)

...Особенно интересно было видеть его в разговоре с Гумилевым. Они явно недолюбливали друг друга, но ничем не выказывали своей неприязни: более того, каждый их разговор представлялся тонким поединком взаимной вежливости и любезности. Гумилев рассыпался в изощренно-иронических комплиментах. Блок слушал сурово и с особенно холодной ясностью, несколько чаще, чем нужно, добавлял к каждой фразе: «уважаемый Николай Степанович», отчетливо, до конца выговаривая каждую букву имени и отчества.

Отношение их друг к другу не было равным. Гумилев действительно высоко ценил Блока как поэта, был автором восторженной статьи о нем в журнале «Аполлон»<sup>1</sup>, и вместе с тем ему было чрезвычайно досадно, что Александр Александрович не разделяет его взглядов на поэзию. Блок отдавал должное эрудиции Гумилева, но к гумилевским стихам относился без всякого энтузиазма. «Эти стихи только двух измерений», — заметил он как-то, не то с досадой, не то с чувством какой-то внутренней обиды.

Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону явно чем-то раздраженный.

— Вот смотрите, — сказал он мне. — Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия...

— Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.

— А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?

Как-то Гумилев подарил Блоку свою недавно вышедшую книгу, тут же набросав на первой странице несколько слов почти-

тельного посвящения. Блок поблагодарил его. На другой день он принес Гумилеву свой сборник «Седое утро»<sup>2</sup>. И когда Гумилев торжественно развернул его, мы все с недоумением прочли следующую надпись:

«Глубокоуважаемому и милому Николаю Степановичу Гумилеву, стихи которого я всегда читаю при свете дня»

Гумилев усмехнулся иронически и недовольно. Он-то во всяком случае не считал, что для стихов нужны сумерки или лунный свет.

...Блок переводил и сам, и тщательно редактировал чужие работы. Редактор он был требовательный и даже придирчивый, но старался передать не букву, а дух подлинника — полная противоположность Гумилеву, который, редактируя переводы французских поэтов, главным образом, парнасцев, прежде всего следил за неуклонным соблюдением всех стилистических, чисто формальных особенностей, требуя сохранения не только точного количества строк переводимого образца, но и количества слогов в отдельной строке, не говоря уже о системе образов и характере рифмовки. Блок, который неоднократно поступался этими началами ради более точной передачи основного смысла и «общего настроения», часто вступал с Гумилевым в текстологические споры. И никто из них не уступал друг другу. Гумилев упрекал Александра Александровича в излишней «модернизации» текста, в привнесении личной манеры в произведение иной страны и эпохи; Блоку теоретические выкладки Гумилева казались чистой схоластикой. Спор их длился бесконечно и возникал по всякому, порою самому малому, поводу. И чем больше разгорался он, тем яснее становилось, что речь идет о двух совершенно различных поэтических системах, о двух полярных манерах поэтического мышления. Окружающие с интересом следили за этим каждодневным диспутом, рамки которого расширялись до больших принципиальных обобщений.

...Мы мало говорили «на серьезные темы». Блок избегал их. Но одна беседа о поэзии мне запомнилась ясно. Было это после какого-то очередного спора с Гумилевым. Александр Александрович вышел взволнованным и несколько раздраженным. По обыкновению, он старался не показывать этого, но его настроение невольно прорывалось в жестах, в походке. Наконец, он не выдержал.

— Вот вы знаете Гумилева лучше меня. Во всяком случае, больше привыкли к нему. Неужели он в самом деле думает, что стихотворение можно взвесить, расчленить...

— Он убежден в этом.

— Удивительно. Как удобно и просто жить с таким сознанием. А вот я никогда не мог после первых двух строк увидеть, что будет дальше. То есть, конечно, это не совсем так, — добавил он с непривычной торопливостью. — И прежде всего слышу какое-то звучание. Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне — страстно, убежденно. Как во сне. А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, чтобы они точно легли в эту интонацию, ничем не противоречили. Вот тогда — правда. Всякое стихотворение вначале — звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. И из нее рождаются миры.

— Гумилев смотрит иначе, — заметил я. — Он утверждает, что видит стихотворение все целиком, во всех его красках и формах. И ему остается только записать, чтобы не упустить ни одной детали. Более того, у него есть твердое убеждение, что тему будущих стихов можно поставить перед собою, как шахматную задачу и решить во всех возможных вариациях.

Блок горько усмехнулся.

— Счастливый человек! Но я не завидую ему. Значит, он никогда не поймет того, что говорит иногда Достоевский. Помните, как пришел к Грушеньке Алеша Карамазов — в горькую и страшную для нее минуту, когда она была готова броситься навстречу новому и неведомому счастью, быть может, сулящему ей гибель и пропасть впереди? Он смутил ее на мгновение своей ясностью и чистотой. Но она схватила бокал шампанского и крикнула в каком-то порыве: «Выпьем за сердце, за подлое сердце мое!» И разбила хрусталь. Это был надрыв, вызов, неожиданный для нее самой. А как хорошо!

И помолчав с минуту, добавил:

— Я люблю женщин Достоевского. Что перед ними бледные девушки Тургенева, великие женщины Толстого? Всех их затмевает Настасья Филипповна или даже та же Грушенька, мещанка с ямочками на щеках. Они — страшное воплощение самой жизни, всегда неожиданной, порывистой и противоречивой. Их, как и жизнь, нельзя загадать наперед. Вот почему так губительны встречи с ними. Достоевский знал их удивительно. Но это я так, кстати. Знаете, я не могу поверить, что Гумилев решает свои стихи, как теоремы. Он несомненно поэт. Но поэт выдуманного им мира. Не могу с ним согласиться. А настоящие стихи идут только от того, что действительно было, прошло через сознание, сердце, печень, если хотите. И вообще надо писать только те стихи, которых нельзя не написать. Да и, конечно, возможно меньше говорить о них.

...Таким казался он и на заседаниях Союза поэтов. Начавши так неохотно свое председательство, он, по свойственной ему добросовестности, терпеливо нес свои нелегкие обязанности. Для Блока они, действительно, были нелегкими. У меня, тогдашнего секретаря, сохранились два-три протокола, из которых видно, что Александру Александровичу приходилось вникать в скучные хозяйственные мелочи молодой нашей организации, хлопотать о пайках, решать дровяные вопросы, писать обстоятельные аннотации на стихи вновь вступающих членов, улаживать конфликты с издательствами. Все это заметно тяготило его. Положение усложнялось тем, что Гумилев и его группа сразу же почувствовали себя чем-то обиженными и начали «борьбу за власть». На этой почве произошел ряд неприятных столкновений, завершившихся уходом Александра Александровича с председательского места в отставку<sup>3</sup>. Вслед за ним был забаллотирован при новых выборах ряд близких Блоку поэтов, и я в том числе. Разногласия происходили и по творческим вопросам. Об этом есть глухое упоминание Блока в дневнике той поры. Сказались эти разногласия и в одной из последних статей Александра Александровича — «Без божества, без вдохновенья», направленной против оторванного от жизни эстетизма. Черновики этой статьи вобрали в себя немало замечаний, набросанных Блоком в его полемических записях, адресуемых Гумилеву во время наших заседаний.

Но бывали и мирные встречи. Мне запомнился вечер в неудобной сводчатой комнате у Чернышева моста, где помещался тогда Комиссариат Народного Просвещения, оказывавший нам гостеприимство. Обычное заседание кончилось круговым чтением стихов, причем было поставлено условие прочесть то, что ближе всего авторскому сердцу. Когда дошла очередь до Блока, он на минуту задумался и начал своим мерным глухим голосом:

Что же ты потупилась в смущеньи,  
Погляди, как прежде, на меня...<sup>4</sup>

...В этот раз Блок прочел не больше пяти-шести стихотворений. Все молчали, замороженные его голосом. И когда уже никто не ожидал, что он будет продолжать, Александр Александрович начал последнее: «Голос из хора». Лицо его, до сих пор спокойное, исказилось мучительной складкой у рта, голос зазвенел глухо, как бы надтреснуто. Он весь чуть подался вперед в своем кресле, на глаза его упали, наполовину их закрывая, тяжелые веки. Заключительные строчки он произнес почти шепотом, с мучительным напряжением, словно пересиливая себя.

И всех нас охватило какое-то подавленное чувство. Никому не хотелось читать дальше. Но Блок первый улыбнулся и сказал обычным своим голосом:

— Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам оставаться несказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть. А за ним будет ясный день. А знаете, — добавил он, видя, что никто не хочет прервать молчание, — давайте-ка все прочитаем что-нибудь из Пушкина. Николай Степанович, теперь ваша очередь.

Гумилев ничуть не удивился этому предложению и после минутной паузы начал:

Перестрелка за холмами;  
Смотрит лагерь их и наш:  
На холме пред казаками  
Вьется красный делибаш<sup>5</sup>.

Светлое имя Пушкина разрядило общее напряжение. В комнату словно заглянуло солнце.

